

---

---

А. ТЕРЕНТЬЕВ

## ПРИГОВАРИВАЮТСЯ К СВОБОДЕ...

Р а с с к а з

Морозное безветрие. Воздух неправдоподобно прозрачен, и до окоченевших дальних сопок, кажется, рукой подать. Дышится легко, но только не надо никуда торопиться: глубокий вздох обжигает легкие. Такие морозы приятно созерцать через оконные рамы, млея на лежанке от тепла, исходящего хорошо протопленной русской печью. Но лесовозная трасса живет круглосуточно. Ночью на затяжных подъемах кинжальные лучи фар вонзаются в звездное небо, а при спусках достигают дна угрюмых распадков. День и ночь идут лесовозы: не так часто, но идут, натужно гудя моторами, и хрусткое шуршание шин по оголенной ветрами щебенке слышно издали. То в чистых, то в заиндеветых стеклах кабин мерно покачиваются головы водителей: простоволосые принадлежат рачительным хозяевам, заблаговременно утеплившимся, а в нахлобученных шапках — это из той неперевожающейся легкодумной братии, которая даже при загремевшем громе не спешит перекреститься, уверяя себя, что больше не бабахнет. Всю зиму они перебиваются в стальных кабинах, и если что и утепляют, то «тяп-ляп», в неиссякаемой надежде, что к следующему рейсу на улице обязательно потеплеет.

Автомеханик Анатолий Романович Безуглов добирался до самого отдаленного участка Березовского леспромхоза. Там что-то не ладится с техникой, и директор послал навести порядок. Старожил здешних мест, Безуглов изъездил и исходил тайгу на сотни верст на все четыре стороны. Он знал все более или менее постоянные дороги: помнил уже заброшенные, а также и ныне действующие зимники, и не хуже охотников-промысловиков распутывал потаенные звериные тропы. К тайному облегчению директора Безуглов сам отказался от автомашины: зачем ради одного человека гонять ее полторы сотни верст туда да столько же обратно? Решил добраться на попутных, принадлежащих экспедиции изыскателей.

Геологи в тайге работали только летом, но, обжегшись на разорительных вертолетах, старались по возможности все необходимые грузы забросить по установившимся «зимникам». Колонна из четырех тяжело загруженных трехосок двинулась с багровым восходом солнца. Везли мешки с мукой, с крупами, солью, плотные мотки проволоки, ящики с каким-то неподъемным инструментом.

Анатолий Романович ехал на последней машине. Вообще-то дальняя поездка с незнакомыми водителями не особенно его радовала. За многие годы работы в леспромхозе он успел предостаточно насмотреться на разные происшествия на трудных таежных до-

рогах и давно пришел к выводу, что нет на таких дорогах зла больше, чем разгильдяй шофер. Мало ли случаев, когда приходилось бросать все дела и спешить на выручку очередному аварийщику: один полетел под откос, другой кукует, вмерзнув посреди наледи, третий отдает Богу душу около своей намертво заглохшей машины. С такой шоферней в своем леспромхозе Анатолий Романович вел непримиримую и нескончаемую войну. Успел нажить себе немало врагов, но истинных друзей приобрел все же много больше. Да к тому же следует добавить, что уволенные по его настоянию водители, в силу широкой известности механика Безуглова Анатолия Романовича, как бы получали «волчий билет» и для них уже составляло немало трудов вновь устроиться на работу в здешних местах. Некоторые из них уезжали в края потеплее, а другие все же пересиливали себя и хотя за полученный урок на Безуглова не молились, но при встречах первыми ломали шапку.

Всех сегодняшних водителей Анатолий Романович видел впервые и, конечно, не мог еще судить об их профессиональном мастерстве. Судить не мог, но уже насторожился: все краснорожие — перед рейсом, видно, приложились. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут, и Анатолий Романович заранее решил ничего не замечать. Подвезут — и на том спасибо.

От белобрысого шофера Сашки, с которым сидел в кабине, успел все же узнать, что тот демобилизовался лишь весной и впервые отправился в дальний рейс. Остальные трое — парни уже битые и шоферят не по первому году.

Старшего колонны, приземистого толстячка лет тридцати, кажется, и мороз не брал. Еще бы: у него шапка-овин из шкуры енотовидной собаки, собачьи унты, оленья дошка, надетая прямо на небрежно застегнутую шелковую рубашку, не скрывающую пухлую белую грудь. На остановках выскакивал из кабины наростопапку, без шапки, и от неприкрытой кудлатой головы шел пар. Широколицый, с незатухающей доброжелательной улыбкой, он, видимо, был из тех мужиков, которых с молодых лет и до глубокой старости зовут или Ванюшкой, или Иваном Ивановичем. Этого звали Павликом, и, похоже, он уже прочно привык воспринимать такое несерьезное обращение как само собой разумеющееся.

Зато в другом водителе, с суховатым чернобровым лицом, даже с мимолетного взгляда угадывался сильный характер. Звали парня Максимом, и одет он был в аккуратную куртку десантника. Анатолию Романовичу сперва даже подумалось, что не кудлатого Павлика, а щеголеватого Максима следовало бы назначить старшим колонны. Впрочем, опять же из собственной практики Анатолий Романович знал, что нередко рубаха-парень, вроде и не стремящийся быть лидером, умеет однако поддержать порядок лучше, чем человек с сильным характером.

Третьего водителя Анатолий Романович в лицо пока еще и не видел. На остановках тот не выходил из кабины, а, приопустив стекло, обнаруживал себя только по папиросному дымку. Сашка называл его Кимом.

Анатолий Романович не удержался и осторожно сказал, что в дальних рейсах закладывать за воротник все-таки не следует. Сашка только присвистнул:

— Да не беспокойтесь, Анатолий Романович! Мы так, немножко, — для сугреву. Проскочим с ветерком! В такой мороз болота — как гранит. В армии я вон какого «мамонта» водил: «Ураган»! Ви-

дали такие машины? Вот-вот, ракеты на них возят. А сейчас ерунда: пять тонн. Больше газа — меньше ям!

Анатолий Романович промолчал. Уж он-то знал: морозы не только сковывают болота до гранитной тверди, но они же насквозь промораживают русла ручейков и речушек, выжимая воду наверх, превращая ее в коварные наледи, вмерзнуть в которые — раз плюнуть. Чем морознее, тем непредсказуемей нрав наледи. Но сейчас воспитательную беседу Сашка лишь снисходительно перепустит из уха в ухо. Вот победует на крутых перевалах да пообливается холодным потом посреди гиблых наледей, тогда его мозги из положения «набекрень» и без воспитательных бесед повернутся как надо.

Дорога колыхалась с сопки на сопку. По обледенелому низкому мосту переехали через парящую речушку. Вспененная вода билась между блестящими валунами, не поддаваясь цепенящему холоду. За мостом Сашка остановил машину. Растянувшись на обледенелых бревнах, прямо с моста зачерпнул в кружку воды. Отпил и, дурашливо кляца зубами, вмахнул в кабину.

— Ууу-х, водичка! Хотите, Анатолий Романович? А то я еще зачерпну.

Безуглов зябко поежился:

— От одного вида зубы ломит. Догоняй своих.

На гребне очередной сопки машины кучно остановились. Сашка тоже подъехал вплотную. Виновато зыркнул на пассажира:

— Вы покурите, Анатолий Романович. Мы мигом.

Потирая уши, побежал вдоль колонны. Анатолию Романовичу стало немного обидно. Он, конечно, сразу понял причину остановки, но в здешних краях не принято исключать из компании попутчика, если он даже совершенно посторонний для нее человек. Само собой, Анатолий Романович приглашения не принял бы, но все равно по законам таежной морали такое предложение должно было поступить. Анатолий Романович тут же простил их: ребята явно не жмоты — стесняются его.

Сашка быстро вернулся, воровато вильнул глазами:

— Да мы чуток, Анатолий Романович. Для сугреву. Два часа уже пилим. Пора! — Звучно хлопнул дверцей кабины, с размаху придавил сиденье. Поиграл рычагами и, словно помогая машине стронуться с места, подался вперед, почти коснувшись подбородком баранки. Подмигнул спутнику: — Холода, тревоги да сплошной туман!..

Молодость так и перла из Сашки. Его курносое чистокожее лицо, с редкими запоздалыми веснушками на глубокой переносице, так и сияло от избытка радости жизни. Анатолий Романович только головой покачал. Этот белобрысый парень начинал ему определенно чем-то нравиться. Расторопных парней Анатолий Романович всегда привечал, если даже они порой откалывали номера, от которых все же лучше бы воздержаться.

Двигатель ровно и уютно гудел. Сашка насвистывал бодрый мотивчик. Анатолий Романович с аппетитом искурил папиросу.

Редкие встречные машины проносились не притормаживая. Все спешили к ночи добраться до теплого жилья. Сквозь закуржавевшее боковое стекло кабины Анатолий Романович всматривался в мелькавший лес. Лишенные хвои лиственницы казались черными, будто обуглившимися от пожара. Безлесные вершины сопок искрились россыпью блесток сухого снега. Мертвящее дыхание лютого холода загнало живых тварей в глубокие норы, в тесные дупла, под

потайные переплетения корневищ. А глухарь и тетерев, падая камнем с высоты, вбиваются в глубокий снег. Лоси, изюбры и косули укрываются в безветрии чащоб или устраивают лежки в плотном кустарнике, либо посреди марей, где снег помельче, а травы погуще и повыше.

Анатолий Романович в который раз мысленно удивился, как можно жить в таких обледенелых краях, хотя сам давно уже прикипел к ним душой и телом и разве только по принуждению вернется на благодатную Кубань, откуда был призван в армию. Служил здесь, на Дальнем Востоке, и здесь же прижился. И умирать будет, вернее всего, тоже здесь, и может статься, что и могилу ему выроят у обочины дороги на заветренном склоне сопки, и будет он лежать в вечной мерзлоте, и тлен столетиями не коснется его тела.

Возле здешних дорог могильные холмики с металлическими или деревянными пирамидками — не такая уж редкость. Но это обычно не настоящие могилы, а лишь имитация захоронений в назидание живым: смотри — и крепко думай! А тела погибших хоронят на ближайших кладбищах, и там тоже появляются могильные холмики с пирамидками, увенчанными звездочкой, реже — восьмиконечным крестом.

Черные лиственницы... белый снег... Черное... белое...

С началом лета черное и белое перекрашивается на сплошное зеленое. Загустевший лес сгладит острые вершины сопки и наполнится таинственной возней, попискиванием, шорохом быстрых крыльев. Но далеко не каждому человеку дано все это слышать: нужно натренированное ухо, нужен многолетний опыт лесного жителя.

Ржавые мари тоже перекрасятся в сочно-зеленое и, прикрыв язвы трясин, будут манить неопытного путника желанным отдыхом. Но даже долгоногий лось летом не отваживается вторгаться в царство коварных зыбунов и обходит их стороной. А он, Анатолий Романович Безуглов, почтенный отец и дед, проклиная себя за очередную дурь, будет остервенело ломиться сквозь завалы бурелома к бурливой речке, где на каменистых перекатах всплескивают молниеносные хариусы, а в затененных провалах между валунами хищные ленки, мерно вздуваясь жабрами, подкарауливают жертву. Кровососущее облачко будет неотступно окутывать уже плохо соображающего рыболова, а он, выдравшись наконец на галечную косу, сбросит на ходу невероятно потяжелевший рюкзак и, до отказа подтянув голенища болотных сапог, покачиваясь от изнеможения, забредет в речку. Из пригоршни наберет в рот воды, но не проглотит ее, а лишь прополощет пересохший рот до зубной ломоты и только после этого, обманывая жажду, сделает несколько мелких и осторожных глотков. Взбурлит сапогами воду и будет плескаться себе в лицо, на шею и грудь, а когда руки совсем захладеют, поддержит их в потных подмышках. Потом полежит на окатанной гальке, бездумно наблюдая за редкими рыхлыми облачками.

Гнусу на обдуваемом берегу много меньше, хотя он все-таки есть, но неохота шевельнуть рукой, и только выпячивая губы, пытаешься сдуть проклятого комара, всосавшегося в самый кончик носа.

Но вот запахло дымком: один из товарищей уже развел костерок, а второй, бултыхая сапогами, вбежал в речку и, зачерпывая котелками воду, тут же выливает ее обратно, а сам беспричинно хохочет, и смешно и радостно смотреть на этого здорового мужика, расшалившегося как мальчик... Но сильнее всего тайга притя-

гивает к себе в начале осени. Перед опадом хвоя лиственниц желтеет, и тайга полыхает червонным золотом. Лиственные деревья, перед тем как тоже обнажиться, сменяют летний зеленый наряд на ярко-пестрое разноцветье, и в сильный ветер между деревьями завихряется багряно-золотая метель. Под ногами плотный ковер брусничника, и, если урожай, сапоги быстро краснеют от раздавленных ягод. Голубика к той поре уже успевает осыпаться, и лишь редкие сморщенные ягодки еще кое-где удерживаются: чуть дунь — и опадают. Северные ягоды особым ароматом и сладостью не хвастаются, но в них есть что-то освежающе прохладное, чего недостает ягодам южным.

Если осень теплая, то в смешанном лесу часто натыкаешься на восковой желтизны грузди. Раздвинув опавшую листву, краснеют шляпки подосиновиков, а настороженный глаз еще издали замечает крепенький, как репа, белый гриб — король грибов. Круто «завальцованные» розовые волнушки не любят одиночества, и там, где обнаружилась одна, ищи поблизости ее подружек.

Тоже ближе к осени на таежных речках начинает брать на «мышья» крупный ленок, а где есть таймень — берет и он. Послав в темноту снасть, рыбак слышит всплеск «мышья», начинает сматывать жилку, но тут следует еще более звучный всплеск и резкий рывок, и, обмирая сердцем, рыбак подтягивает к берегу кого-то невидимого в густой темноте, но сильного, не смирившегося.

...Подозрительный скрежет донесся откуда-то снизу. Анатолий Романович очнулся от сладких грез. Натренированные уши сообщили: что-то неладно с тормозами. Сашка это уже тоже понял, но на немой вопрос спутника беспечно отмахнулся:

— В тормозах что-то полетело. Плевать! Больше половины проехали. Дождем! Скоростишками сыграем.

Анатолий Романович опять промолчал: ну что с парнем поделаешь? Был бы он свой, леспромхозовский, то сейчас бы отобрал у него руль и сам повел машину. Но подними шум — и может ошестиниться: не суйся не в свое дело. Что ж, хочешь не хочешь, а придется подождать, пока жареный петух в задницу не клюнет. А если вообще обойдется без «петуха» — тем лучше. Только бы не ночевать в дороге.

Уютное настроение покинуло Анатолия Романовича. На сопках с такой крутизной склонов на машине с отказавшими тормозами можно дважды два наломать дров. Стараясь внешне не обнаруживать нарастающей тревоги, Анатолий Романович весь подобрался, готовый в любой миг перехватить баранку, или распахнуть дверь кабины, или мгновенно сделать что-то другое, что ему подскажет тридцатидвухлетний опыт шофера. Впереди остался всего один крутой перевал, за ним отворот влево, по зимнику, там плоские мари в мелком кочкарнике чередуются с сопками, но те сопки по сравнению с уже преодоленными — более миролюбивые. А вот наледи — загадка, которую не разгадаешь, пока не ткнешься в нее собственным носом. Только бы добраться до отворота, и пусть мари, пусть сопки, но в целом-то останется недалеко до старой базы лесопункта. Давно заброшенной: уже несколько лет лес вывозят по другой дороге — к большой реке. Там его сплавивают.

Последняя перед отворотом сопка оказалась самой крутой. Пока ее одолевали, радиатор «засамоварил». Сашка осторожно, но уверенно спускался. Анатолий Романович одобрительно подумал, что из этого разбитного парня со временем получится классный води-

тель, но пока его надо придерживать на коротких вожжах: иначе из-за своей бесшабашности добром не кончит.

Сашка до предела прижался к кювету, заставляя машину катиться не по укатанной полосе дороги, а там, где побольше выбоин и смерзшихся комьев щебенки. Анатолий Романович согласно кивнул: так держи! Но оба запоздало разглядели остановившуюся внизу машину. Она недостаточно плотно прижалась к правой обочине дороги и, по существу, загородила проезд. Сашка занервничал, задергал рычаги. При переключении скоростей тяжело нагруженный ЗИЛ на мгновение спотыкался, но уже в следующие секунды рывком ускорял разгон. Скрежетали шестерни, мелькали оголенные деревья, дорожное полотно слилось в гладкую, без выбоин и комков, серую полосу.

К остановившейся внизу машине, застегивая на ходу штаны, бежал шофер.

Анатолий Романович привстал на сиденье, в надежде разглядеть какой-то шанс избежать столкновения, хотя уже понял, что столкновение неизбежно. Дорога внизу пролегла по невысокой, но обрывистой насыпи. Слева — сползающий в глубокую падь голый косогор. Справа, между дорогой и лесом, вровень с дорожным полотном — надутый ветрами глубокий снег.

— Вправо! — не узнав своего голоса, рывкнул Анатолий Романович.

Сам сжался на сиденье и зажмурился, оберегая глаза от возможных осколков стекла. Грузовик рухнул передком, качнулся в глубоком крене и на миг оторвался от земли левыми задними колесами. Как от взрыва, верхние мешки с мукой вылетели из кузова. Анатолия Романовича сильно шмякнуло о дверцу кабины, в животе что-то противно екнуло, в глазах потемнело, мелькнула обреченная мысль: «Хана! Перевернемся!..»

Двухосный грузовик обязательно бы перевернулся, но сорвавшаяся с дорожного полотна трехоска качнулась в обратную сторону, оставшийся в кузове груз сдвинулся туда же — и машина устояла.

Взбуровливая снег, сбив сухостойное дерево и выворачивая затаившиеся пни, грузовик пропахал широкую траншею и, напрудив вал выше кабины, обессиленно замер.

Приготовившийся к самому худшему, Анатолий Романович недоверчиво открыл глаза. Двинул руками, ногами — похоже, обошлось. Пошевелился весь: боли тоже нигде не почувствовал. Перевел взгляд на шофера. Сашкины пальцы намертво вцепились в баранку, а сам он, откинувшись на сиденье, расширившимися зрачками уставился в растрескавшееся и придавленное снаружи снежным валом лобовое стекло. Побелевшее, без кровинки, лицо Сашки неузнаваемо заострилось.

— С благополучным прибытием, Александр Иванович!

Шофер затравленно вздрогнул, стянул шапку на лицо и, с придыхом втягивая воздух сквозь сжатые зубы, неподвижно посидел с минуту. Потом резко припал грудью к баранке, поправил шапку и, все еще вздрагивая неповинуящимися губами, сам отыскал взгляд Анатолия Романовича. Тот легонько ткнул его в плечо:

— Ну-ну... Обошлось — и слава Богу. Молодец: баранку не бросил. А пока нас откапывают — давай покурим да почешемся. Но?..

Своим ходом на дорогу выбраться не смогли. Пока дергали двумя машинами да собирали разлетевшиеся мешки с мукой, багровое

солнце скатилось за потемневшие сопки. Быстро надвигались рассеянные сумерки.

При осмотре оказалось, что лопнула воздухоподводящая трубка тормозной системы. В тепле на час ремонта, а на лютom морозе?.. А мороз нарастал и наверняка уже перевалило за сорок, к утру, конечно, еще придавит. Только чокнутый или попавший уж в совершенно безвыходное положение стал бы на ночь глядя ремонтировать под открытым небом. Конечно, кое-как можно прикрыться брезентом, но толку?..

Пока вытаскивали машину да собирали мешки, старшинство как-то незаметно перешло к Анатолию Романовичу. Посмурневший Павлик перестал наконец улыбаться и, прислонившись к радиатору, шепотком матерился: громче нельзя — мороз перехватывал горло. Сашка завел было канительный разговор с «дристуном», остановившимся посреди дороги, но тот лишь пренебрежительно сплюнул застывшим на лету плевком в сторону «придурка, вздумавшего ездить по горам без тормозов».

«Дристуном» оказался тот самый шофер Ким, лица которого Анатолий Романович еще не видел. А лицо было неулыбчатым, с тяжелым подбородком, не сулившим легкого душевного сближения. Анатолий Романович весьма удивился, с какой легкостью Ким закинул себе на плечо мешок с мукой и с этой пятипудовой тяжестью без видимых усилий выбрал из глубокого снега на дорогу. Без посторонней помощи забросил мешок в кузов. Из всех шоферов, казалось, только Максим абсолютно невозмутимо отнесся к происшествию. Он уже успел разжечь паяльную лампу и, присев на корточки, грел возле нее руки. Было бы, конечно, лучше погреться в кабине своей машины, но вот зачем-то разжег лампу. Да и на остальных гудящее пламя действовало как-то умиротворяюще, вокруг него и столпились. Анатолий Романович прикрыл рот рукавицей и запостреливал из-под нее клубками пара:

— Давайте, ребята, без свары. Все виноваты — дисциплины нет. В дальнем рейсе, а закладываете всякую дрянь. Вот Кима и приспичило. Как я понял, только один Павел бывал там, куда добираемся. Он подтвердит мои слова: по тем марям, наледям и сопкам только чокнутый поедет без тормозов. Сопки там, правда, пониже, но не менее круты, чем те, которые уже одолели. Некоторые наледи наверняка придется одолевать вброд, а другие застыли так, что даже в валенках на них не устоишь. Короче говоря: без тормозов — гроб без музыки. Но до заброшенной базы лесопункта кровь из носу — но добраться надо. Отсюда девять километров по спидометру. Там есть гараж, врытый в сопку, и барак для людей. Все рухлядь, однако ночь перебиться вполне можно. Подремонтируемся, отдохнем и утречком двинемся к месту. Аварийную машину поведу сам. Мне привычно. Так что не ерепеньтесь. Договорились? Вот и лады.

До пристанища добрались без особых хлопот. Лишь через одну наледь, которую совсем размесили первые три машины, последнюю пришлось перетаскивать на удлиненном буксире.

Приосевший бревенчатый барак издали можно было принять за груды хлама. А гараж встретил провальным зевом на месте сорванных и куда-то исчезнувших ворот. В ближнем правом углу гаража, на невысокой кирпичной кладке, стоял водогрейный котел. Повеселевшие шофера обрадовались ему не меньше, чем самому гаражу. Котел, хотя и поржавел, но при внешнем осмотре сквозных

дыр не обнаружил. Около гаража валялись груды дров: расколотые и нерасколотые метровые чурки.

Изрядно повозились с навешиванием брезента вместо ворот. Протекавшая рядом с баракком речушка успела насухо вымерзнуть, и образовавшийся еще в начале зимы лед прикрывал пустоту, в которую уходило множество чьих-то мелких следов-стежек. Высохший лед крошился от легкого удара ногой. Им и забили котел. А когда облитые соляром дрова с гудением вспыхнули в длинной топке котла, гараж сразу принял обжитой вид, хотя холод в нем держался, пожалуй, еще лютее, чем снаружи.

Павлик опять заулыбался, похлопал своей зверовидной шапкой по колену и при общем одобрении подвел итог:

— Есть огонь — будет и тепло. А если котел потечет — заткнем деревьяшками. Жить можно!

Пока в гараже делать было больше нечего. Пусть малость прогреется, а то от стен тянет, как от морозильника. Потирая уши, кинулись к манящему жилью. От пятистенного барака более или менее уцелела лишь одна половина. Вторая сиротилась без крыши, без потолка, с проломленной торцевой стеной: видать, двинули бульдозером. Безответственных болванов, наверное, даже на Северном полюсе встретишь.

Примерзшая дверь не поддавалась. Максим влез через выбитое окно и изнутри ударом тела открыл дверь. В барак нанесло снега, но все облегченно вздохнули, когда, присмотревшись, увидели: печь сохранилась!

...Стая волков охватила косуль неумолимой подковой. Слева мчался вожак, отрезая жертвы от дороги, за которой простиралась обширная марь. Справа пласталась еще пара хищников, оттесняя косуль от крутой сопки с выпирающими наружу гранитными уступами. Четвертый волк голубоватым призраком замыкал подкову.

Косули уже изнемогали. Мелкий снег мало прикрывал кочкарник, заросший сплошным голубичником. Высокие подскоки косуль все укорачивались, острые копытца все чаще срывались с кочек, и тогда обессилевшее животное тыкалось грудью в снег или неловко заваливалось крупом. Волки издали учуяли людей и заспешили закончить облаву. Наддав ходу, вожак взял круто наперерез косулям. Его-то первым и увидел Максим. Он кинулся к машине, выдернул из-за сиденья двухстволку. Волки находились еще за досягаемостью выстрела, да и в стволах дробовые патроны, но Максим не стал перезаряжать. Гулкий дуплет разорвал завораживающую тишину северной ночи. Волки, однако, не остановились, а лишь замедлили бег. Косули же повернули прямо на выстрелы и, расходуя остатки сил, гигантскими скачками устремились к людям. Сашка кинулся навстречу. Ближняя не отвернула, а с разгону ткнулась ему в ноги и с жалобным вздохом-стоном завалилась на бок. Сашка подхватил ее на руки.

Бессильно свесившись точеной головкой, косуля загнанно дышала, и Сашка ощущал твердость ее судорожно вздымающихся ребер. Вторая, заметно более рослая, остановилась в полуобороте, в десятке шагов от людей, готовая в любой миг кинуться прочь. Ее широкие влажные ноздри раздувались, уши трепетно двигались, и облитая лунным светом вся ее изящная высоконогая фигурка казалась чудом из сказки. То был козел, гуран, как их зовут в Сибири и на Дальнем Востоке.

Придерживая дыхание и не рискуя резко шевельнуться, шо-

фера с изумлением рассматривали неожиданных лесных пришельцев.

От слившихся с тенями кустарника волков донесся тоскливый вой. Пока бегали за патронами, стая невидимо растворилась в морозном безмолвии.

Сашка пятился от любопытствующих парней, ревниво отбрехивался:

— Ну чего тянетесь, чего? Не видели, что ли, каких страхов, сердешная, натерпелась. Максим, не тянись: ей-богу, пну. Да не бойся, голубушка, этих охламонов: они добрые, только у них не все дома. Рты разинули: экая невидаль!

Но Сашка все же проморгал, как зашедший сбоку Максим осторожно погладил порывисто вздымающийся бок косули. Она рванулась так, что Сашка едва устоял. Он матерно обложил виновато попятившегося Максима и стал укачивать косулю. Она или совсем обессилела, или наконец доверилась человеку, но вырываться перестала, и лишь мелкая дрожь продолжала сотрясать ее сухое тело.

Пар от дыхания сразу же превращался в сухую изморозь, и она оседала на одежду. Низко над землей повисло что-то похожее на прозрачную дымку, и весь обледенелый окоем наполнился таинственными шорохами. Но, возможно, шорохов в действительности и не было, а у разгорячившихся за работой парней порывистый ток крови создавал шум в ушах.

В стороне сопки с гулким треском лопнуло разорванное морозом дерево. Огромная луна высокомерно катилась по звездному небу. Застывшая марь отливала голубоватым светом. Притопывая для сугреву, парни наговаривали косуле ласковую чепуху. Как-то так получалось, что сторожко переступавший копытками козел почти не привлекал к себе внимания людей, а все симпатии отдавались его подруге. Сашка принюхался к шерсти животного и сделал поразившее его открытие:

— Ребята, а она зверем пахнет! Вот ведь все как устроено: беззащитная тварь, травой питается — и все равно зверь. А попала в беду — и к человеку кинулась. Умница! Да попадись она мне в лесу, разве поднимется рука в нее стрелять, браконьеры вы несчастные!

Анатолий Романович стоял поодаль и наблюдал за веселым ерничеством молодежи. Он чувствовал, как у него самого в груди теплеет и рассасывается неприятный осадок от дурацкой дорожной аварии. Неплохие ребята: другие бы из-за подобного происшествия переругались вдрызг, а эти дружно делают вид, что ничего особенного не произошло: с машиной не плюхались, пятипудовики не таскали, и вообще все идет так, как и было заранее задумано. Сейчас они впрямую ощутили грозное дыхание ледяного безмолвия и, подчиняясь древнему стадному инстинкту, стараются держаться кучно. Они откровенно по-мальчишески радуются, что все-таки добрались до убежища, где есть крыша над головой, есть стены, а в них печь-буржуйка: все это заслуженное вознаграждение за их упорство. Да и от свалившейся на них роли ангелов-хранителей, спасших невинных тварей от волчьих зубов, парни и впрямь немного распустили сопли и, прикрывая пробитую брешь в их мужском достоинстве, мололи всякую чепуху, сами не сознавая того, что именно такая чепуха и выставляет их с самой привлекательной стороны. И, словно напоминая, какие они хорошие, не так далеко протяжно провыл волк. Тоскливым взвоям ему отозвался другой. Уши косули не знали покоя: то вместе, то врозь выворачивались в стороны, то, чуть подло-

мившись, улавливали неслышимые людьми звуки, текущие прямо от земли. Играя ноздрями, козел тоже уставился в сторону прозвучавшего воя. Казалось, он вот-вот ударится в бег, но продолжал топтаться на одном месте, поворачиваясь к людям то головой, то белыми «салфетками» на подобранном крупе.

Погрозив ружьем, Максим предложил устроить облаву на волков. Его подняли на смех, и даже Анатолий Романович сдержанно фыркнул: ну, Максим, Максим... Смех оборвался сухим кашлем, и, прикрывая рты рукавицами, шофера вперегонки кинулись к бараку. Перед Сашкой дверь распахнули до отказа: гуляй с барышней!

Максим задержался на улице, поманил козла:

— Иди, дурачок, в тепло. Топ, топ... Твою подружку не обидели и тебя не обидим. За ночь волки далеко уйдут. Давай, не трусь. Смелей! Ты же мужик!..

Козел настороженно внимал человеческому голосу, но стоило Максиму сделать шаг к нему, он, будто резиновый, похоже, даже не касаясь земли, отскакивал подальше и вновь замирал вполоборота к человеку. Максим попятился и спиной выбил дверь.

Бока железной печки скоро покраснели. Пламя гудело в тесной трубе. Дел всем хватало. Ким ушел в гараж подшуровать котел. Максим колот дрова. Павлик с Анатолием Романовичем стряпали поздний ужин. Только Сашка сидел на низких нарах с косулей на коленях. Ее, видимо, больше всего пугало, но и завораживало пламя в печи. Беспокойно тянулась шеей, а Сашка успокаивающе почесывал ее то в одном, то в другом месте. Забегая в барак с очередным беремением дров и стараясь не производить шума, Максим клал их к стене и, обхлопывая себя рукавицами, чертыхался:

— Морозина — дух захватывает! Страшно подумать: ночь на дороге загорать. Вовремя вы, Анатолий Романович, мозги нам немало поправили. Ведь отлично знаем: в дальнем рейсе не дури. И все-таки дурим. А как наша голубушка? Пригрелась? Звал, звал твоего дружка — не идет, бережется. Братва, покормить бы их чем-то?..

— Свиной тушенкой! — хохотнул Павлик, помешивая в котелках. Скинув шапку и дошку и оставшись в одной шелковой рубашке с засученными по локоть рукавами, он, хотя и без поварского колпака, смотрелся сейчас как самый натуральный повар с картинки кулинарной книги.

Сашка зашипел:

— Шши, не ржите, дуrolомы, не пугайте девочку. Моей племяннице годок исполнился. Набалуемся с ней — она вот так же прильнет ко мне и уснет посапывая. Мать с отцом не могут ее усыпить, а у меня засыпает. Раскинется ручонками, а я сижу и пошевелиться боюсь.

Сашка явно намекал на свои воспитательные способности.

— Практика, значит, есть?

— А то!

Косуля поворачивала изящную головку, и ее прекрасные кроткие глаза влажно блестели в полумраке барака. Максим переходил на шепот:

— Надо же! Ребята, да посмотрите на нее — все понимает.

Анатолий Романович с Павликом согласно покивали:

— Как же! Конечно, все понимает.

У Сашки устали руки. Он встал и, загородив собою дверь, по-

ставил косулю на замусоренный пол. Косуля как будто только этого и ждала. Она взвилась, приняв за окно пятно на стене, освещенное отблеском печного огня. Оглушенная ударом, рухнула на пол. Все замерли, а Сашка запричитал по-бабьи, прижимая к себе вяло сопротивляющееся тело.

Максим постоял, что-то обдумывая, и поспешно вышел из барака. Пока он продирался через низкий кустарник к речушке, дважды падал и чем-то острым раскровянил себе щеку. Направился к крохотной лощинке, которую успел заметить, когда еще заготавливали лед для котла. Лощинка заросла особенно высокой и густой травой. Уже зная о хрупкости высушенного льда, он все же рискнул ступить на него и сразу ухнул выше колена, но тут же ощутил под ногами твердое дно. Вблизи трава оказалась еще выше и гуще, чем просматривалась издали. Жесткая, похожая на мочало, она, однако, легко резалась ножом. Первую охапку Максим набрал довольно быстро, а когда нарезал вторую, то успел промерзнуть до костей. Одеревеневшие пальцы еле удерживали нож. Он грел их под мышками и опять резал.

В полуразрушенной половине барака намело сугроб снега, но в дальнем углу сохранилось сухое затишье. Сюда Максим и свалил траву. Немного присыпал ее солью. Вряд ли косули добровольно примут такое стойло, но ничего лучшего люди придумать не смогли. Можно, конечно, связать косуле ноги, но, обездвиженная при таком морозе, она запросто погибнет. Решили рискнуть, уповав, что страх перед волчьей стаей удержит косуль под покровительством людей. Сашка поставил косулю на траву, продолжая удерживать ее за шею.

Он постепенно разжимал руки и наконец совсем отпустил. Косуля не сделала попытки кинуться в бег. Она учуяла соль и ткнулась губами в траву. Полная доверчивость косули, как гром среди зимы, поразила Сашку, и он замер на коленях, боясь пошевелиться или хотя бы от избытка чувств вздохнуть погромче. Вылизывая соль, косуля деловито рылась мордочкой в траве. Сашка крадучись попятился на улицу и, ухватив за рукав поджидавшего там Максима, увлек его прочь. Через щель в дверях они понаблюдали, как косуля вышла из закутка и приблизилась к своему другу. Лунный свет обливал животных. Согревая друг друга, они менялись местами, соприкасаясь боками. Но вечная настороженность не покидала их. Да и волки, видимо, бродили где-то неподалеку. Потом косуля, призывно оглядываясь, направилась к бараку и опять постояла, прежде чем шагнуть в темный проем. Козел еще потоптался, но наконец и он, замирая после каждого шага, пошел за ней.

...Поужинали плотно, не раз при этом пожалев, что «горючку» поспешили вылакать днем. Сейчас бы по стопочке в самый раз.

В потеплевшем гараже с ремонтом управились за час. Опять пили чай и, хотя всех клонило ко сну, ложиться не спешили. Только Анатолий Романович уединился на нары и дымил папирсой. Разговор продолжал вертеться вокруг косуль, и Максим, не донеся кружку до рта, вдруг потрясенно оглядел сотр~~ез~~езников:

— Хлопцы, а вы заметили, что козел бежал позади подружки? Она совсем вымоталась, Сашке прямо в ноги ткнулась. А ведь у козла-то силы еще оставались. Чего ему стоило надбавить ходу и, пока волки терзали его подружку, он, возможно, успел бы спастись. Выходит, ради нее он собою жертвовал? Как это называется? Сам погибну, но подружку не брошу... Любовь, или что другое? Кто ум-

ный — ответь мне!.. — Максим требовательно оглядел притихших парней.

Павлик обеими пятернями погрузился в разлохматившиеся кудри, ожесточенно заскреб череп. Вскочил на ноги и опять брякнулся на скамью:

— А ведь, правда, на любовь похоже. Животное — а вот поди же! А человек? Вот сидим мы тут: раз, два, три, четыре... Лбы! Рассусоливаем трали-вали, а кто из нас способен на такое? Или только трепаться горазды, особенно когда хороводимся вокруг белой головки? Вот Максим про умников помянул, а нужны ли здесь мозги? У косуль-то мозгов не лишка, так неужели мы подлее их?

Почему-то побледневший Максим навалился на плечо Павла и, заглядывая ему в лицо, почти с угрозой потребовал:

— А ты свою Нину бросишь? Раз пытаешь нас, то первым и ответь. Пусть Нину рвут на куски, пусть ее заживо жрут, но лишь бы твоя шкура уцелела. Бросил бы? Или врукопашную с волками схватился? Давай отвечай!..

Павлик отодвинулся на конец скамьи и, непривычно построжав лицом, враждебно отозвался:

— Ты, Максим, свои привычки брось! Это у вас, десантников, учат: бей под дых, или еще куда больней. Не знаю уж, храбрый я или трус: медведя не брал, в атаку не ходил. Все больше возле бабьих юбок ошиваюсь. Но как я свою Нину брошу? Она кровью захлебывается, криком исходит, а я врубаю пятую скорость — и пятками о задницу... Если даже сам спасусь, то дальше-то как жить буду? В глаза своих детей как смотреть буду? От волков спасешься, так сам себя решишь.

Пухлые щеки Павлика задрожали слезой, и, весь обмякая, он затряс кудрями:

— Нет, нет, Максим: говори, да не заговаривайся. Уф, иди ты к черту! Ляпнешь такое на ночь глядя... Но раз ляпнул, то и я ляпну: ты сам как — бросишь? Пусть грызут, а ты пятую скорость... Так или нет?

Максим поставил локти на стол, вложил подбородок в ладонь и, улыбаясь чему-то своему, затаенному, просто отмолвил:

— Не брошу.

И что-то такое прозвучало в этом невыразительном «не брошу», что ни у кого не повернулся язык на ехидную подковырку.

Не стирая с лица затаенной улыбки, Максим неторопливо заговорил:

— Я за своей судьбой не один год ходил. Еще до армии ее заметил... Жили по соседству и, само собой, часто нечаянно встречались. Нет, пожалуй, тут я вру. Это для нее, может, нечаянно, а для меня чайнно. Сам старался попасться ей на глаза. Да все без толку: кивнет — и мимо спешит. За мной в поселке худая слава ходила. Безотцовщина, а у мамы кроме меня еще трое на руках. Ходил в атаманах. Никто из ребятни против меня пикнуть не смел. А вот девчонка — ноль внимания. Злость во мне кипела. Подкараулил ее однажды: схватил, к себе повернул. А она хоть бы слово молвила, или бы попыталась вырваться. Только сквозь слезы на меня смотрит. Отпустил ее и пошел посвистывая. А сам чуть реву не задал. Заатаманился, так сказать... Так и ушел в армию. Попал в десантники. Год отбухал в Афганистане. До армии наслушался рассказов бывших фронтовиков. Да только не тем боком рассказы до меня доходили. Как в кино: бежит солдат в атаку — упал,

убили. А вот когда сам идешь в атаку, когда рядом падают твои товарищи, и небо с овчинку съезживается, и земля — мама родная... А после боя вроде и горы уже по-другому стоят, что давным-давно забыл — вдруг отчетливо вспоминается, а недавние события исчезают из памяти.

Мне едва пять исполнилось, когда помер батя. Осколок у него возле сердца сидел. Он и доконал. Шел батя, кровь хлынула горлом, упал — и больше не встал. Только в Афганистане я и понял своего батю, понял, сколько он пережил. Как был еще в армейской форме, так в ней и пошел на кладбище. Посидел у его могилы, прощения у него попросил... Скоро, конечно, и ее встретил. Еще раньше мне уже успели доложить: замуж не вышла, хотя и сватались. Встретились, а я уже и не помню, что мямлил. Уж не знаю, чем бы у нас все кончилось, да судьба помогла. Видно, прежде чем умереть, батя крепко за меня молился.

Однажды в автобусной давке мы с ней оказались лицо к лицу: ни отвернуться, ни отодвинуться. Уж не знаю, как все получилось, но только при всем честном народе я поцеловал ее прямо в губы. Кто засмеялся, разные подначки посыпались, а один дядька на весь автобус крикнул, будто неразведенного спирту хватил. Знаете ведь нашего брата. А она головой не отшатнулась, а только вся вспыхнула и смотрит на меня в упор, и смотрит... Народу в автобусе было набито — палец не просунешь, а тут пассажиры еще больше потеснились и дали нам свободно выйти. Пока шли до ее дома, я ей предложение и сделал. А она призналась, что я ей тоже давно симпатичен, да только боялась меня. Нашептывали ей разную ерунду, в которой я вовсе и не был виноват... Ясное дело: поженились мы. В срок родились близнецы: сын и дочурка. Ну, сами понимаете... Чего тут говорить?..

Максим налил чая в кружку и грел о нее руки, все с той же застенчивой улыбкой, словно все произошло помимо его воли, и ему совсем бы не следовало разглагольствовать о своем счастье, но уж так получилось, и не надо его за это строго судить. Осторожно отпил глоток, пожал плечами:

— Вот так...

Павлик потерябил кудри, завистливо воскликнул:

— Да-а, повезло тебе, Максим. Ух как повезло! Да за такую жинку!.. — но почему-то вдруг осекся и, пробормотав что-то невнятное, подтолкнул Сашку: — Докладывай, твоя очередь! Только не заправляй арапа. Я о себе ничего не скрыл. Максим тоже исповедался. И ты излагай все как есть.

Сашка поерзал на скамье, с тоской посмотрел на отпотевший задымленный потолок, потом в дальний закуржавевший угол. Ногтями поскреб плотные сальные наслоения на столешнице. Затравленно вздохнул:

— Чего рассказывать? Нечего мне рассказывать. Вы уж хвастайтесь, а я послушаю да на ус намотаю.

Павлик промелькнул замаслившимся взглядом:

— Как это — нечего рассказывать?! Баб, что ли, еще не знал? Сиськи им не мял? И девчонки на примете нету? Сколько тебе? Двадцать два с гаком? Ну, Сашуня, ты даешь! Да я к твоей поре!.. Нет, как же ты обходишься без того самого? Жизнь упускаешь. Слаще бабы ничего на свете нет.

Сашка пылал лицом. Не знал он женщин, а врать не умел. Максим пришел на помощь.

— Не унывай, Сашок. Если не встречал ту самую, для тебя рожденную, то и не спеши. Ты не урод какой-то; она от тебя не уйдет. Но и рот широко широко не разевай: другой может перехватить. А главное, не слушай тех, кто треплется много о любви: та его была, та... Такая любовь — это не любовь, а скотская случка, но только при ней больше всего опасаются, как бы не произвести ребенка.

Вмешался Павлик:

— По-твоему, Максим, чем больше баб имеет мужик, тем он ближе к скотине. А я вот иначе слышал: «Всех баб не переберешь, но к этому стремиться надо». Где-то читал, что у царя Соломона их было семьсот штук. Вот он уж покотовал!

— Я штучным счетом всегда брезговал, — защитился Максим, — но в книжках тоже читал: где разврат — там любви нет. Верю таким книжкам, поскольку сам кое-что наблюдал. А самое умное, что я о бабах в этих книжках вычитал, — это японская поговорка или как она там называется. Запомнил ее: «Только когда мы смотрим на чужую женщину, только тогда мы начинаем понимать, насколько хороша собственная жена».

— И жена может быть стервой.

— Не может, Павлик. Если стерва — значит не жена.

И не оставляя Павлику времени на возражение, Максим стукнул кружкой о столешницу:

— Сашкин вопрос с повестки дня снимается. Против нет? Принято единогласно. Ким, твой черед. Или спать пора?

Павлик запротестовал:

— Нет уж! Если раздеваться догола, то — всем.

Пока сидели за столом, Ким не обмолвился еще и словом. Было даже не понять: или он вслушивается в разговор, или в плену своих дум. Высокорослый и физически очень сильный мужик, но что-то надломленное порой промелькивало в его уж слишком пристальном взгляде: упрется — и невольно отвернешься.

Максим взглянул на часы:

— Ого! Первый час! Так слушаем или на боковую?

Ким направился было к нарам, но остановился и презрительно бросил:

— Любовь или нелюбовь, а уж алименты обязательно.

Павлик аж подпрыгнул на скамье:

— Не об алиментах толкуем, а с волков начали разговор.

Ким так и не дошел до нар: отшагнул к печи и, хотя много удобнее было прикурить от мерцающего жирника, прижег папиросу от раскалившейся печки. Смачно сплюнул. Сел обратно.

— Один хрен. Но вот волк грызет свою жертву один раз, а стерва всю жизнь грызет: только попади ей на зуб. Дочь родилась — жилы свои рвал, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Если и закладывал, то аккуратно: под заборами не валялся, получку не пропивал. Домой приносил побольше других, а она все равно карманы обшарит: не зажал ли трояк. А в квартире напротив жила ряженая разведенка. Красивая сука! Сама подстилалась, да я не захотел. Может, из-за этого и капала на мозги моей жене. Да и то сказать: если не захочешь слушать, то и не будешь слушать. А о своем бывшем муже, моряке-подводнике, говорила без стеснения: «Я себе кормильца зафрахтовала!». Вот так. А я, сколько ни старался угодить своей, а угодить не мог. До больших скандалов не доходило, но, как змеиным ядом, каплей по капле душу мне выжи-

гала. На каждом шагу подчеркивала, что я какой-то недоделанный, дурачком меня выставляла. Терпел, терпел — плюнул и ушел. Втайне надеялся: одумается, назад позовет. Да где там! Через пару дней после моего ухода на развод подала. Спешила, пока я не передумал и не вернулся в семью. По горячим следам действовала. Стал все наше сожителство припоминать — и дошло до меня: она еще до женитьбы меня тоже зафрахтовала. Поздновато дошло. Любовь разыгрывала — меня доить. Ей полная свобода нужна, а без грошей какая свобода? Она и была в одну точку. А кобеля всегда найдет. Баба фасонистая. Твой батька, Максим, на ходу помер. Ничего удивительного. Пока фронтовики да подрастающие парни на производстве вкалывали, девки в институты валом перли. И нынче прут. Ладно: бабы врачи, плохо или хорошо, но всех нас лечат. Учительницы, плохо или хорошо, детей учат. Зайдешь на почту — сотрудницы всегда при деле. На продавцов, хоть и шипим, а они целый день на ногах. В свою бухгалтерию заглянешь — главбуху со своими помощницами вздохнуть некогда. А уж о рядовых работницах на прямом производстве и говорить нечего: пашут, как ишачки. А где баба-инженер на прямом производстве? Тю-тю!.. До шоферения работал на большой стройке, электросварщиком. Народу на стройке больше десяти тысяч, а лишь несколько баб-инженеров на прямом производстве: в гражданское отделочные работы вели. Зато в конторах баб-инженеров под завязку. Тепло, светло и мухи не кусают. А тоже поясной коэффициент, северные надбавки... А север только через двойные рамы видят. На работу на спецавтобусе, с работы на спецавтобусе. Времени — вся смена: права качать. «Ах, какие мы закабаленные! И производство, и дети, и домашние дела — все на наших шеях!». А работенка у них: бумагами шуршать да жопы греть. А если есть ребенок или двое, то ребятишки целый день в садике или в школе. Присмотреть за ними есть кому. А дома похлебку сварить — и опять в крик: «А почему мне муженек не помогает?». У геологов то же самое. В конторах баба на бабе, а мужики в тайге пашут. А если которая все же в тайгу попадет, то еще ее рюкзак таскай. У баб вещей всегда больше, чем у мужика. Ну, развели нас, мать их в душу! Да и как не разведут, если судья баба, в прокуратуре бабы; в гороно, в школе, в больницах, в детясях — кругом бабы. «Она мать!.. В интересах ребенка!». А от этих интересов ребенку частенько только огрызки достаются. А отец, выходит, дворový кобель, которому до лампочки, какой он сучке и какой приплод произвел. Но в законе у родителей равные права на детей. Прошел я через все эти законы. Черта лысого: равенством и не пахнет. Даже видеть дочурку не разрешает, прячет от меня, и никто ее не может призвать к порядку. Куда ни сунешься — везде только высокая трепотня. Из квартиры меня выжила, алименты плачу — и я же кругом виноват. Сам себя бояться стал: не удержусь — прибыю. Уехал от греха подальше. Вот и вкалываю с тоской пополам ей на алименты. А их мало у нас не бывает. Сами знаете, как горбатимся. Из рейса в рейс, без выходных и праздников. В иной месяц часов набегаает почти вдвое больше нормы. Отсюда и заработок. А она сосет, и закон опять на ее стороне. Кто такой закон пробил? Они, суки! Спасать их от волков? Да они сами кого хошь загрызут. Я даже не знаю, кто у меня отец. И мать вряд ли знает, кто ей меня сделал. Люди говорили: не брезговала ни парнем, ни стариком — лишь бы гульнуть. Чую — лишку говорю, но растравили душу. Дернуло вас с такими

разговорами... Опросталась от меня матушка — и привет! В род-доме бросила. Может, у меня братья или сестры есть такие же бро-шенные: того не знаю. Только когда подрос, узнал, что таким кур-вам даже в документах никаких отметок не делают о брошенных детях. Опять закон повернули как дышло. Если мужик скрывается от алиментов, то на него объявляется всесоюзный розыск, а она опросталась, и с нее — как с гуся вода...

Ким опустошенно замолчал, незряче посмотрел поверх голов собеседников. Нашарил в кармане папиросы и обессиленно выбра-лся из-за стола. Вяло надел полушубок, нахлобучил шапку:

— Иду в гараж. Кого разбудить на смену? Тебя, Павел? Раз-бужу, спи... — и пинком открыл перекосившуюся дверь. Клубы мо-розного воздуха ворвались в жилье. Дверь уже захлопнулась, а си-девшие за столом продолжали смотреть вслед ушедшему. Разговор сам по себе иссяк, и никто не спешил его возобновить. Павлик по-шарил ногами и что-то сильно пнул. Из-под стола вылетела пустая консервная банка, ударилась о стену и отскочила назад. Шофера с вниманием проследили за ней. Сашка глубокомысленно изрек: «Железная, сволочь!». Павлик с Максимом рассмеялись.

Вышли на улицу. Поеживаясь от леденящего холода, справили малую нужду. Луна успела переместиться, и закуток с косулями бледно осветился. Животные тесно лежали на сухой траве, чутко вскинувшись в сторону людей. Шофера без шума отступили и поспе-шили вернуться в тепло.

...Сон не брал Анатолия Романовича. Весь разговор за столом он хорошо слышал и не раз хотел вмешаться, но превозмог себя. Да и что значительного он смог поведать своим случайным спут-никам? Если Сашка еще желторотик, то остальные парни жизнь уже poznали. А Кима жаль. Хотя он и вывернулся наизнанку, но чувствуется, что он многого еще не договорил, и в этой недогово-ренности, возможно, скрывается даже что-то страшное. Но одно, по-жалуй, все же можно утверждать: вздумавший оскорбить этого че-ловека рискует многим. Анатолию Романовичу подумалось, что Ки-ма неплохо бы познакомить с Зиной, близкой приятельницей жены. Зина тоже разведенка, воспитывает сына. Бывший ее муж, отпетый подонок, вторично угодил в тюрьму. Обжегшись на молоке, Зина тоже дует на воду, но не скрывает, что судьба матери-одиночки ей совершенно не улыбается.

Самому Анатолию Романовичу далеко перевалило за полсотни, но спроси его, повезло ли ему в семейной жизни, он, пожалуй, не найдет с ответом: жаловаться нет причин, но и ярких вспышек приязни к жене и детям тоже не припоминается. Но ведь и серьез-ных размолвок тоже не случилось. Отца, председателя поселкового совета, арестовали в тридцать седьмом. Единственное, что вреза-лось в детскую память о тех временах, — купанье в пронизанной солнцем речушке. Мама сидит на берегу, а он судорожно цепляется за шею хохочущего отца. Навечно запомнилось прохладное отцов-ское тело, его бережные руки. Анатолий уже обзавелся семьей, когда какими-то путями всплыла причина ареста отца. Выяснилось: участковый милиционер захотел завладеть их домом и сочинил гнус-ный донос. Дом он действительно захватил, а жену врага народа с детишками выселили в хибарку на окраину поселка. Когда всплыла подоплека ареста отца, к той поре добротная пятистенка пришла в полное захудение: исчез палисадник, на месте крытого двора с при-стройками зияла пустошь, заросшая редким чертополохом. Скособо-

чившийся дом насушил частыми фанерными заплатами в оконных рамах. Семья бывшего участкового к той поре разлетелась неведомо куда, а сам он превратился в облезлого злобного старика, выхаркивающего остатки своих легких. После плена он отбывал срок на Колыме. Там и подхватил чахотку. Приезжая к матери, Анатолий старался не встречаться со своим кровным врагом, но поселок не столичный город, и однажды они столкнулись на узкой тропинке. Анатолий нес для самовара ведро ключевой воды. Мать шла за ним, но заранее свернула в сторону. Вся кровь отхлынула от лица Анатолия, благостный солнечный день померк, и сын загубленного отца видел только глумливую ухмылку приближающегося старика. Тот тоже не уступил тропинку, и ведро ударилось ему о ногу. Вода вышлеснулась. Анатолий едва успел увернуться от лишнего буроватого плевка. Впадая в беспамятство ненависти, отшвырнул наполовину опорожнившееся ведро и выхватил из-за пояса топор. Мать повисла на плечах сына. Сорвалась криком-плачем: «Толюшка, не осироти меня! Детей своих пожалей... Заклинаю тебя, родной мой!.. Не тронь Иуду проклятого во веки веков. Толюшка, кровинушка моя, не замути светлую память отца! Остынь, сынок!..». Вывернула из ослабевших рук сына топор, прижала голову сына к груди. Анатолий съехал из материнских рук, пал лицом в траву. Мать гладила вздрагивающую спину сына, и слезы капали на его открытую шею. А по тропинке, по-волчьи оскалась, удалялся сгорбленный старик.

После отпуска Анатолий вскоре получил письмо от матери. Она писала, что бывший участковый сгорел вместе с домом. Хоронить его останки из родных никто не приехал. В поселке ходили упорные разговоры о поджоге, но разговорами дело и кончилось. Никаких дознаний не производилось. Официально причину пожара объявили стариковской неаккуратностью.

Анатолий Романович вспомнил, как женился.

Ему дали годовую отсрочку от призыва, и вот однажды, когда он меньше всего думал о женитьбе, к ним приехала дальняя родственница с незнакомой ему девушкой. Конечно, это было сделано в стоворе с матерью. К той поре старший брат и сестры обзавелись семьями и перебрались в разные города. Мать и разговаривать не хотела о переезде к ним: «Чего я буду в городе делать? Радио слушать? А здесь корова, дом, огород.хлопот хватает — ими и живу. Здесь родилась, здесь выросла, здесь вас нарожала. Редких стариков в поселке по имени-отчеству не знаю. Есть с кем словом перемолвиться, у самовара посидеть. Пока я здесь, и вам есть куда с внуками приезжать. Все-таки здесь Кубань, тепло, фрукты — не ваша студеная Сибирь».

Анатолий до армии жениться не собирался, да и зазнобы на примете не имел. Приезд гостей тоже не вызвал у него особого любопытства. Он собирался в кино, но мать попросила посидеть с ним за самоваром. Надежда, так звали девушку, особой красотой не отличалась. Круглолицая, со вздернутым носиком, две короткие, но толстые темно-русые косы, соединенные ленточкой, тяжелым полукружьем доставали до лопаток. Рукава простенькой кафточки были коротковаты, и, когда девушка тянулась за чашкой, открывалось округлое, женской полноты, нежное запястье, совершенно не сочетавшееся с огрубелыми и неотмываемыми от черной работы пальцами. Надежда не проявляла ни стеснительности, ни любопытства, и, наблюдая за ней со стороны, можно было подумать, что сидевший

отив парень — ее родной брат. Своего скромного наряда она, же, тоже не стеснялась, и от нее веяло спокойствием умудренной жизнью женщины. Анатолий не был букой, но с девушками всегда знакомился трудно, а сейчас как-то так получилось, что знакомиться нет надобности, поскольку они как будто давно уже знакомы. Об этом он подумал лишь позднее.

Надя уронила ложку. Они враз нагнулись, и Анатолий близко увидел крепкие икры загорелых ног и старенькие туфли с уже потрескавшейся кожей и тщательно заваксенными заплатками. Надежда моментально поджала ноги и окаменела, а глаза стали наливать влажной синью. Какая-то размягченность накатила на Анатолия, и он сидел боясь пошевелиться. Позднее он не раз поддразнивал жену, что если бы не те стоптанные туфли, то не бывать бы их свадьбе.

Мать с гостьей говорили одновременно, и, как это умеют женщины, умудрялись при этом слушать и опорожнять чашку за чашкой. В фаянсовой вазочке горкой высился мелко наколотый сахар, но горка почти не убывала. Откинувшись на спинки стульев и, как на подставках, удерживая чашки на кончиках разведенных пальцев, женщины шумно отпивали крутой кипяток, подкрашенный морковной заваркой, лишь изредка кладя на язык крохотный кусочек сахара. Поглощенные разговором и чаепитием, они, казалось, совсем не обращали внимания на молодых, но утверждать подобное означало бы недооценить их способности.

Вот они переглянулись, строго поджали губы, отставили чашки, отерли потные лица полотенцами, и мать без всякой присказки, строго сказала:

— Вот тебе, Толя, жена. Послушай мать — жалеть не будешь. Надежда из честной, работающей семьи. Шелков-бархатов у нее нет, но это не ее вина. Сватья подтвердит: их семью она хорошо знает. Уйдешь в армию — Надежда останется со мной.

И Анатолий Романович не пожалел, хотя даже спустя тридцать с лишним лет после свадьбы не знал, была ли когда у них с Надеждой настоящая любовь или просто житейские обстоятельства заставляли их тянуться друг к другу. Давно забылись подробности того чаепития, а вот сейчас, на нарах в промерзшем ветхом бараке, все озарилось вспышкой омоложения, и сладкая боль растревожила сердце.

Наперегонки храпели уморившиеся шофера. Забитая нерасколотыми и плохо просохшими чурками печь сбавила жар, но все же экономно источала тепло, и под полушубком было вполне терпимо. Тянуло закурить, но, не желая отпугнуть сладостные воспоминания, Анатолий Романович лишь поплотнее укрылся полушубком.

Покойница мать, сама великая труженица, безошибочно угадала в Надежде себе ровню. Надежда правила мягкой, но властной рукой. В своей семье Анатолий Романович чувствовал себя не то что чужим, а как бы на положении собственных детей, пусть и старшим по возрасту. Но подчиненность не тяготила его, и когда доброты намекали, что он под каблуком жены, он только пожимал плечами: «Под каблуком так под каблуком»...

Он знал, что дети любят мать больше, чем его, но, сам выросший без отца, тоже считал это в порядке вещей. Да он и не представлял себе, в чем эта любовь к отцу должна проявляться: слушаются — и ладно.

Когда Надежде потребовалась сложная операция на желудке,

то по его телеграмме немедленно прилетели сын и обе дочери с внучатами. А ведь никто из них не живет ближе Омска. Когда дочери стояли на коленях и целовали обессиленные материнские руки, а сын, не скрывая слез, стоял в изголовье, Анатолия Романовича впервые охватило что-то похожее на мерзкую ревность, и он поспешил уйти в другую комнату. Сидел там, поглаживая головенки приникших внука и внучки.

Операция прошла успешно, но с той поры им овладел непреходящий страх, что Надежда может умереть раньше его. Что угодно, но только не это: Надежда должна схоронить его.

Отгоняя черную мысль, Анатолий Романович рывком встал, погладил заколотившееся сердце. Подошел к печи, пошевелил тлеющие чурки. Они успели накалиться и дружно запылали. Анатолий Романович втиснул еще одну чурку и прикрыл дверцу. Вернулся на нары. Уже засыпая, представил себе, как вернется из этой поездки. Надежда еще на пороге встретит его выжидательным молчанием. Он пожмет плечами, она осветится лицом и заспешит на кухню. Помывшись и переодевшись в чистое белье, он будет сидеть за столом, а Надежда сядет напротив его и заворчит, что он мало ест и скоро будет походить на доходягу. Анатолий Романович беззвучно рассмеялся: уж тридцать с лишним лет он походит на «доходягу». Потом они будут лежать в постели, и, подсунув руку под его голову, другой рукой Надежда будет тихонько отталкивать его: «Хватит, хватит, — ненасытный. Старики ведь мы с тобой, а чем занимаемся?». Но тело жены все еще было по-молодому крепким и чистым и возбуждало желание.

...К утру все разоспались и прокараулили, когда косули покинули закуток. Зоркий Максим опять первым увидел их: они паслись среди мари, метрах в трехстах от дороги. Косули замерли, но не сделали попытки отбежать подальше. Мороз донимал, но шофера не спешили уйти в гараж. Сашка с сожалением сказал:

— Ушли и не простились. Все-таки не доверяют человеку. Даже на душе тоскливо: вроде чего-то убавилось.

Максим энергично отшвырнул окурок:

— Все в порядке, Саша. Так и должно быть. Есть предложение: пусть каждый из нас рассказывает здешним шоферам об этой истории. Чтобы не обижали этих коз. Пусть все знают, что они приговорены к свободе.

Павлик подвигал своим «овином»:

— Рассказывать-то можно, но как бы хуже не получилось. Всякие среди нашего брата есть. Узнают, что тут пасутся — подкараулят и ухлопают. Может, лучше помалкивать?

Павлику не ответили, и только Ким, что-то нечленораздельно буркнув, направился к гаражу. За ним молча потянулись остальные.

...Пока зимник не раскис под весенним солнцем, проезжавшие здесь шофера частенько видели пасшихся среди мари двух косуль. Животные переставали кормиться и, повернувшись в сторону дороги, взглядом провожали машины, пока те не скрывались за поворотом.